СМЕРТЬ ЗА ЦАРЯ

– Ты не поедешь туда.

– Это уже мое дело!

Отойти к окну. Закурить. Царапать взглядом грязное стекло. Цокольный этаж, и рядом, по близкой земле, ходят кошки, они все ходят и ходят, мышей не ловят, бездельничают, греются на солнце, скалятся, смеются. Смеются над ним.

– Ефим, говорю тебе.

– Говори сколько влезет.

– Как ты разговариваешь с отцом?

– Ну, побей меня.

«Ведь бил уже однажды. А я к Нинке на свиданье шел, и весь в синяках, расцвеченный, как клоун».

Он видел, как отец сжал кулаки. Кулаки кричали о бессилии и любви.

«Нет. Не ударит. Больше не посмеет никогда. Власть у меня над ним».

Он чувствовал эту власть над отцом. Эту страшную, кровную власть – сына над отцом. Эта нищая, в кровавых лохмотьях, многолетняя пуповина оказалась крепче мгновенной материнской.

Мать в земле. Отец – вот он, стоит перед столом. За его спиной немытая посуда.

«Прощай, немытая посуда. Посуда нищих и господ. На сердце у меня остуда... остуда... остуда... ну, черт...»

Отец старел на глазах. Отец работал на трех работах, чтобы прокормить мачеху и Ефима и себя; но сам подчас забывал есть, бормотал себе под нос: «Потощаю лучше, здоровее будет».

Оглядеть, обнять одним грубым взглядом отца. Отец стал ростом ниже его. А был недавно выше.

«В землю врастает».

Жизнь отца шла на убыль, моталась на веревке дней рваной рубахой. Рваной, да чистой. А он? Руки-то грязны или чисты? А голова?

Головенка Ефима умная, хитрая, соображает, кумекает. Еще день на земле пройдет. Отец покричит, потрясет себе перед носом кулаками и утихнет. А потом, когда стемнеет, они оба напялят куртки – холод на улице – пойдут в магазин и купят Ефиму всякой еды. Всякой-разной. На что у отца денег хватит? На курицу, сосиски, пельмени. Как же без горячего. Ну крупы там, макароны, для гарниров. Молоко, хлеб, масло подсолнечное.

«Чтобы только на сигареты остались у него бабки. Пару пачек возьму сразу. Или даже три. А вдруг на три у него не хватит? Он никогда не говорит, сколько у него денег».

Плотно и зло прижимая желтым пальцем, затушил окурок в чайном блюдце.

Отец ногой подвинул к себе стул, грузно сел и стал похож на большой тяжелый мешок с картошкой, и колени под грязными джинсами огромными картофелинами торчали.

«Сейчас что-то скажет. Слово изронит. Золотое».

– Фимка... – Замолчал. И молчал так долго, что Ефим поежился: рожай наконец! – Ты когда работать будешь? Устал я.

«Не добавил: тебя содержать. Вежливый сегодня».

Он сделал шаг к отцу, и отец вскинул голову; Ефим глядел на его лысеющий затылок, потные скрученные веревки сивых нестриженых волос. Они сошлись глазами, глаза ударили друг друга, и глаза отца упали, свалились вниз, как два камня, скатились. Потерялись под сивыми редкими ресницами.

Отец закрыл глаза ладонью, будто от света. Ефим стоял, чуть сгорбившись, в позе «вольно», насмешливо кривил губы, показывал прокуренные гнилые зубы. «Черт, надо бы срубить у него бабки на зубного доктора. Все зубы в дуплах. Запустил. За здоровьем тоже надо следить».

– Папа.

Отец отнял руку от лица и вздрогнул.

– Папа, – Ефим постарался придать голосу нужную нежность, – видишь, оброс я. Постричься надо.

– Сколько стрижка стоит?

Голос отца был ровен и спокоен, но смотрел он в сторону.

– Пятьсот рублей.

– Так уже дорого? Мужская стрижка?

– Не хочешь, в салонах тысячу? Я в простую парикмахерскую пойду. У вокзала. Хочешь, вместе пойдем? На рынок зайдем. Ты посмотришь себе что-нибудь там... такое, ну, для сада. Для дома. Инструменты там...

«Сколько все-таки он получил вчера? Вчера у них в конторе зарплату выдавали. Молчит как партизан. Никогда не скажет, черт».

Кивнул. Сивые волосенки затряслись за ушами.

– Зайдем. Погляжу чего.

А вот теперь попытаться выплюнуть это весело, нагло. Так наповал выстрелить, чтобы верняк!

– Пап. Холода наступают. В лесу уж снег лег. Мне штаны теплые нужны!

Беспомощно запрыгали у отца губы. Хотел повернуть шею и Ефиму в лицо глянуть. Не смог: шея как ледяная, в позвонках стеклянный хруст. Боль. Мгновенная, смешная боль. Боль, ведь это лишь воспоминание о боли. На самом деле никакой боли нет. И никогда не было. Ее человек просто вспоминает, вспоминает. И все никак не вспомнит.

– Штаны?

«Не притворяйся, притворщик».

– Джинсы.

– Джинсы. Понял.

– На рынке – купим с тобой?

Он прямо, нагло глядел в лицо отца, а лицо отца плыло перед его глазами, текло и дрожало, будто дождь бил по стеклу, и капли стекали. Лицо воды. Лицо дождя.

Отец кивнул тяжело, через силу. Смог улыбнуться.

«Гляди-ка, еще улыбается, герой».

– Купим.

«Значит, на складе тоже деньги выдавали. Буратино сегодня у нас богатенький».

Развеселился, щеки покраснели, будто уже выпил. Под ложечкой засосало. Во рту вкус водки ощутил. Водочка, да под селедочку. Или это селедочка – под водочку? Водка и селедка, вечный брак, однополый, сладкий.

Ладони потер.

– Замерз я, батя. А ты нет?

Отец пожал плечами. Старый свитер топорщился на локтях.

– Нет.

– А если нам – ну, для сугреву? А?

Отец молчал.

– Ну че ты, ты ж хочешь, а. Вижу. Чую, хочешь. Селедки купим! А? Хлеба ржаного, этого, как его, бородинского. Твой любимый. Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать. Или боишься?

– Чего?

«Хрипит как. Захворал?»

– Жены своей, чего-чего. Выпьешь – запилит.

Отец сжал рот подковой. Желваки над скулами вздулись.

– Она меня никогда не пилит.

– Врешь. Так я и поверил.

– Ты же знаешь. Тихая она. Как мышь.

– Мышь-мышь, а денежки из тебя – тянет?

«Ну, скажи: и ты тоже тянешь. Ну, валяй!»

Мешок с живой картошкой дрогнул и пополз вверх, будто его за горловину, выше плотной завязки, потащили, потянули. Отец встал, разогнул колени. Крепко потер ладонью шею. Ефим, сощурясь, рассматривал ухо отца, мочку, скулу, висок. «Бороденка вся седая, старый уже. Если вдруг он умрет, а?»

Отец спросил внезапно и страшно, повторяя его смутную мысль:

– Фимка, а ну как я помру? Что делать-то станешь?

Теперь молчал он. Узкие глаза, на подбородке прыщ. Чахлый, хилый, ноги-стебли, руки-канаты. А сам себе, перед зеркалом, виделся богатырем; глаза тоже могут обманывать, нагло врать.

– Пойдем, пап. Рынок закроют. Рано закрывают.

– Пойдем.

Долго стояли перед дверью: отец копошился, не мог ключ повернуть в замке. Ефим оттолкнул отца от двери плечом, повернул ключ, и ему показалось – ладонь у него в масле. Обтер ладонь о колено. Сегодня он выкинет на помойку эти изношенные портки.

Ножницы серебряно, жестко щелкали в воздухе. Волосы сыпались и улетали. Белая простыня облипала плечи. Он видел в зеркале ангела, стриженного под ноль, и гнилозубо хохотал. Его побрызгали дешевым парфюмом, он жмурился, как кот. Шли с отцом на рынок, и отец шел нога за ногу, тяжело вдавливая пятки в осеннюю грязь. Лужи схватывал слюдяной ледок. У плывущих мимо замерзших людей были лица мертвецов, они выглядывали из пальто и шуб, как из гробов. У прилавков стояли долго, растерянно; Ефим обжигал взглядом черноглазого торговца с гладкими сизыми щеками, стаскивал старые джинсы, влезал в новые, новые сдергивал с ненавистью: малы! «А вот ищо, дарагой, а вот надэвай не ленись, какой хароший будишь, какой чжигит! Ищо вот эти, эти... чжигит будишь в них, хоть сэчас на лошад! И лошад – скачи, впирод, и толка впирод!» Костлявые ноги, куриные ляжки. Человек не птица, а когти растут так же. Не червяк, а ползет, и след за ним по грязи. Эти в самый раз? Заверните!

Глядел исподлобья, как отец лезет в карман, вытаскивает деньги за жабры. У отца никогда не водилось бумажника; всю жизнь он таскал деньги в карманах, и они вываливались отовсюду – торчали носовыми платками, топорщились рыбьими плавниками, темной медью валились на асфальт. Деньги живые, и они пахнут: пивом и водкой, кусками радужной норвежской сельди! И новенькими джинсами, светлыми как морозное небо. Отец перебирал купюры, считал, мусолил. Восточный дядька черносливом пучил глаза, ждал, цокал языком, приплясывал, хлопал себя руками по коленям.

За едой зашли в магазинишко около дома. Вот это взять, и это, и еще это. Как называется это? А, просто еда; и вкусно, черт! Отец, это и правда вкусно! Верю, верю. А еще – колбаски? Глядел сбоку, скашивал узкий глаз: все ли отец из карманов растряс. Хватит ли на бутылку. Вот к бутылкам опасливо и жадно подошли. Блестит темной кровью лаковый, стеклянный ряд. Солдаты пьяной революции. Ать-два, левой! Ать-два, правой! Выпьем и снова нальем!

А сигаретки не забудем? Сигаретки не забудем. Как же без них.

Курение убивает? Меня не убьет!

Руки оттягивали тяжелые пакеты. Торчал кирпич ржаного, торчал сизой соленой свечой селедкин хвост. Горло бутылки торчало, мерзло на черном ветру. Скорей бы добраться до дому, а трамвая нет как нет. Батя, а че ты такой квелый? Выше нос! Мы еще себя покажем!

Я сдам на права. Машину мне купишь. А еще оружие. Ну, чтобы я мог отбиться, если нападут. Справку раздобуду, я ж нормальный. Бать, ну че нос воротишь? Ты ведь у меня можешь, да? Можешь! Заработаешь! А я тебя в обиду не дам! Пусть только сунутся!

И опять ключ застрял в замке. Бать, когда ты замок новый купишь? Черт, на рынке ж были, не купили. Два дурака. Это кто дурак?! Да я пошутил. Да я тоже пошутил.

Ефим зубами открыл бутылку. Руки весело тряслись. Отец глядел, как трясутся руки сына.

– Фима. А что, если. Тебе. Ну, это самое. Ну.

Перевитая струя белой водки еле слышно звенела о дно стакана.

– Что – ну, это? Что ты заикаешься?

Отец взял стакан в руки. Посмотрел на нефтяной разноцветный срез селедочной спинки.

– С тобой начнешь.

– Договаривай!

– Ну, это, полечись.

Отец, со стаканом водки в руке, смотрел на Ефима снизу вверх. Глаза умоляли. Ефиму захотелось плеснуть в них водкой. Он удержался.

«Ты, спятил совсем. Это же отец».

– От чего – полечись-то?

– От...

Отец долго молчал, потом кивнул на стакан у себя в руке.

Ефим взял свой стакан и посмотрел на отца через водку, на просвет.

Водка чудовищно искривила улыбку; увеличила гнилой клык, он гляделся черной дырой.

– Пап, что мелешь? Ты хочешь сказать – я алкоголик?

– Ничего не хочу. Просто я вижу.

– Что – видишь?

– Ничего.

Отец поднял стакан. Ефим тоже поднял. Стукнул стаканом о стакан отца.

– Выпьем лучше.

Выпили, и правда стало легче. Теплее.

Ефим закурил, и стало отлично: жарко и душевно.

Душа превращалась в дым и улетала из тела вон, навек.

И тут же рождалась под ребрами новая, чтобы прожить один день, один пьяный, табачный миг.

Сидели долго. Бутылка тихо качалась ледяным маятником. Ефим скорчил умильную рожу: бать, сходи еще одну купи! Ну мы ж два мужика, ну нам же поллитрухи мало! Отец послушно встал, пошел. Вернулся. Так же, как сын, открыл затычку зубами. Водка бесилась, вырывалась из рук, падала в стаканы с плеском, умалишенно. На плите, в ковше, булькали сосиски; лопнули, будто чулки по шву, и наружу, в кипяток, вывалилось розовое бабье мясо. Ефим подцеплял сосиску вилкой и махал ею в воздухе. Остужал.

«Остуда... Остуда... Оттуда... отсюда...»

– Туда, – сказал он вслух. – Я поеду туда. И, может, к чертям не вернусь оттуда.

Отец влил водку в глотку и замер.

– Едешь? – Язык уже неуследимо вертелся во рту, танцевал. – А если тебя... убь...

– Ют. Убь-ют? Ют, ют. Там, бать, всех убивают. Это война.

Отец аккуратно поставил стакан на стол, среди крошек и рыбьих костей.

Ефим не ожидал: он заревел мясисто, надсадно.

Щеки и лоб налились кровью.

– Война-а-а-а-а?! А ты кто тако-о-о-о-ой?! Ты даже от армии-и-и-и-и! Откоси-и-и-ил! Тру-у-у-у-ус!

Вскочили. Друг другу в плечи вцепились. Крючились, немели, синели пальцы.

Хрипели. Орали. Молчали.

Потом сели и пели.

Наливали.

\* \* \*

Еще вчера у него была девушка. Очень красивая девушка. Ему так казалось.

И не только ему казалось.

Она была у него долго, очень долго; может быть, целую жизнь была.

А потом сплыла: так бывает.

Он был к этому не готов. Верил в то, что эта девушка его и что он – ей – нужен.

Он приходил к ней пьяный – она прощала его; и даже с ним, пьяным, иногда ложилась в постель, и у него кругом шла голова от водки и счастья. Иной раз она даже пила с ним, а совсем иногда, редко, даже курила – так, играючи покуривала, дула на дым, дула ему в лицо, трепала за вихры. Он рассказывал ей, как они будут жить: машина, лучше иномарка, бензин самый дорогой, чтоб бежала как по маслу, квартиру сначала снимать, потом купим в центре, никому не дам тебя в обиду, буду носить за лацканом пистолет, лучше Макарова, а лучше ТТ, нет, лучше Руби, чтобы если кто полезет – сразу ба-бах! – и ваши не пляшут; дом за городом, лучше коттедж, собака обязательно, красивая и гордая, немецкая овчарка, а лучше кавказская, а еще лучше стаффордширский терьер: всех порвет! – детей двое, нет, трое, два мальчика и девочка, принцесса; и за границу летать будем два, нет, лучше три раза в году, и перво-наперво в Таиланд. Почему в Таиланд, спрашивала девушка, и вынимала у него из губ сигарету, и затягивалась смешно, шутя, и кашляла, и смеялась. Почему в Таиланд? Да потому, что так смешно звучит: Тай-и-ланд! Будто собака лает! Тай! Ланд! Тай! Ланд! А кроме шуток? Кроме шуток, там теплое море. Теплое! Море!

Теплое море есть и на нашем юге, отвечала девушка и разгоняла дым рукой. На Кавказе. В Крыму. Ты в Крыму был?

Ефиму не хотелось признаваться, что нет, не был он там никогда. Он и не признавался. Морщился: мол, Крым, чепуха какая. Вот Италия – это да!

Девушка закрывала глаза и говорила: Крым, он такой ласковый, нежный. Как про мужчину другого. И Ефим покрывался злым и холодным потом.

А потом еще говорила: поцелуй меня.

Он целовал, и тогда она морщилась и говорила: от тебя пахнет куревом и водкой, я устала от этих запахов.

Однажды он обозлился и сказал ей: спи с девушками, они пахнут лилиями.

На что она засмеялась и сказала: они еще хуже пахнут водкой, чем мужики.

Когда от нее запахло чужими ароматами, он не помнил.

Они были вместе уже много лет, и она стала его зеркалом; а она гляделась в него и не видела себя, зато ясно видела его. И боялась ему сказать, какой он на самом деле.

Этот день настал. Она сказала ему.

Обычным тоном, по-доброму, даже чуть смеясь, как всегда. Посмеиваясь. Усмехаясь углом намазанного утренним перламутром рта.

Как звучали эти слова? Да обыкновенно. Слова как слова. Не лучше и не хуже других. Он их мог все вспомнить, перечесть, прочесть вслух, воспроизвести. Прокатать внутри себя еще раз, и еще раз, и тысячу раз.

«Ты надоел мне. Мне надоела твоя нищета. Твоя вечная пьянка. Твои дурацкие мечты, как мы будем жить. Никак мы не будем жить. Я не хочу замуж за алкоголика и бедняка. А бедняк ты потому, что ты тунеядец. Ты лентяй. И хитрец. Ты приклеился к своему папочке, как рыба-прилипала. И сосешь из него деньги. Ты живешь, потому что жив твой отец! Умрет отец – ты будешь никто! Никто, слышишь ты! Ты никто! Ты ноль без палочки. Я потратила на тебя столько лет! Целую жизнь! Я устала от тебя! Мне нужен другой муж!»

У нее на щеке и шее темнели синяки. Ее или били по лицу, или целовали взасос.

Я никто, и звать меня никак, а ты шалава, медленно, раздумчиво сказал он тогда – и замер: ждал, сейчас размахнется и влепит ему пощечину. Уже загорелась, прежде удара, щека. Девушка молчала, и молчание наваливалось ему на плечи, будто он плыл в холодной реке и, умирающий медведь, на спине нес грязную толстую льдину. Зверь! Да, это теперь был он. Ему захотелось разбить девушку, как зеркало. Он уже протянул руки. Девушка чуть отпрянула. Ее глаза горели, как у голодной кошки. И она зверь. Все мы звери, не люди. Мы только носим человечью кожу. Давай, бей! Бей ногами! Колоти, задуши!

Целую жизнь, говоришь, потратила? А хочешь, я на тебя смерть потрачу?

Что, что?! Повтори!

Что слышала, сказал он и медленно стал пятиться к двери. Еще раз посмотрел на нее и вышел, и дверь стукнула. Все, забил крышку гроба.

Он пришел домой; ключ опять заедал в замке. Пнул дверь ногой, потом налег плечом и выдавил ее. Захохотал: как все просто. Грязные тарелки белели в вечерней тьме, как перевернутые шляпки огромных грибов. Капал кран. Сухо, надменно тикали старые часы. Идут уже полвека, подумал он, а мне тридцать лет, и будет сорок, и будет пятьдесят, и все будет то же и так же.

Тогда он подумал: где-то идет война, и пойду на войну.

Там смерть, и она важнее, чем жизнь.

Потом он пошарил на полке, нашел початую бутылку, стаканы были все грязные, и он хлебнул из горла; на столе тускло золотели недоеденные шпроты в плоской, как мина, банке. Он залез в банку пальцами и ел шпроты руками. Качался, напевал. Кажется, плакал.

\* \* \*

Поезд мотал его в железной колыбели. Он пьянел от дороги, от селедочных сизых рельсов, от станционных белых фонарей в дегтярной ночи. Ехал и ехал, а потом вдруг все стали выходить из вагона, и он вышел вместе со всеми.

«А где же тут граница? Где чужие флаги?»

Оглядывался. Ветер черным флагом сыро, туго обворачивал его.

Все пошли, неряшливой гурьбой, к дальним домам. Земля пружинила под ногами. Холодные тучи висели низко. Поднялся ветер и погнал тучи, как стадо серых гусей, а они метались, потеряли хозяйку. Голод крутил и царапал желудок. Ефим сглотнул и побежал туда, куда бежали тучи.

Дома, приблизившись, оказались руинами. Он оторопело глядел в пустые оконные глазницы. Била дрожь, налетал жар. «Простудился; черт, простудился. Ни аспирина, ни горячего чая тут нет и не будет».

Он выманил у отца деньги на дорогу. Отец спросил: на что? Он тихо, шипящим шепотом, швырнул в мохнатое старое ухо: у меня девушка новая, вот на нее – надо. Ты же хочешь, чтобы я был счастлив?

И, злясь внутри на себя и на отца, умильную рожу состроил.

Он умел быть умильным, когда хотел.

Отец поверил вранью. Ласкал тысячи в пальцах: раз... два... три... четыре... хватит? Ефим тайком оглядел отца. Исхудал, да. А мачеха? Растолстела. «Тоже пьет из отца кровь. Я пью, и она пьет. И в нем все меньше жизни. Мы оба выпьем его, и он опустеет и выдохнется, и его шкура, оболочка жалкая, сдуется и упадет на землю. И дырявую шкуру будем хоронить».

Спасибо, папа. На здоровье, сыночек. Лишь бы ты был доволен. И у тебя все сложилось. А та девка дрянь была, ты не думай о ней, не жалей ее. Не плачь. Тебе нужна девица веселая, здоровая, румяная, и чтобы готовила вкусно.

«Мне нужна денежная. Чтобы хорошо зарабатывала».

В дороге он позвонил отцу. Телефон холодил горячую ладонь. Батя, я еду на войну. Он ждал крика, слез, упреков. Отец помолчал, потом донеслось: «Это твой выбор».

Молодец ты, батя, не баба ты, мужик.

Далеко, как на том свете, он услышал – за спиной отца мачеха вопит, сыплет ругательствами, плачет. Плачь, плачь, галка, мне тебя не жалко. Чужая толстая бабенка, бочонок на ножках-кеглях, заняла пустое место, где раньше томилась и тосковала его мать.

В другом городе. В другом времени.

В другой зиме.

Он близко подошел к разбомбленной стене. Положил руки на подоконник.

Стоял в оконном проеме, и зимнее черное поле видело его – черная фигура в белом квадрате. Он оглянулся. Полосатый мрачный мир. Белые полосы снега на черной подмерзлой земле.

«Зачем я сюда приехал? Что мне здесь надо?»

Выше головы раздался гадкий свист, и он присел. Его лицо сморщилось и стало похоже на детский кулак. Потом возник грохот; он навалился сзади, придавил, и жизнь временно стала плоской, дрожащей и дырявой, как влажный блин на раскаленной сковородке.

Оглох, и мысли исчезли. Страх остался – голый и беззащитный.

...так беззащитно глядел на него отец, снизу вверх, когда ему деньги отсчитывал.

Группа людей, скотий гурт, стадо, отряд, толпа. Какая разница, как назвать людское скопище. Люди сбиваются в кучи, и одна куча молотит другую. Где тут родной? Где чужак? Он звал свою девушку: Нина, родная. Где теперь родная? Время растворило ее в себе, как в острой вонючей кислоте. Возник автобус, возник человек, что четко и зло командовал ими; буксовали в грязи колеса, искажалось лицо шофера, когда свистели снаряды. Он жалел, что сюда приехал; жалел себя.

«Надо потерпеть. Еще немного».

Зачем, он не знал. Кому-то, кто стоял выше его и невидимо смеялся над ним, это было нужнее. Ему в ногу, в бедро выше колена, попал осколок. Врачей тут не было, чужой человек разрезал ему ногу, обильно полив финский нож водкой. Он не мог смотреть на свою кровь, отвернулся. Ты чего ревешь, спросил его человек, не мужик, что ли? Он посмотрел в лицо тому, кто резал его и перевязывал, и бесстрашно, хрипло сказал: боюсь.

Крови боишься, бросил мужик, крепко завязывая марлевые хвосты, так зачем сюда подался?

Смерти боюсь, сказал Ефим честно. Закинул голову. Слезы втекли обратно в глаза.

Эта странная баба возникла ниоткуда. Выросла, как гриб после дождя. И башка у нее на гриб была похожа: туго перевязанная платком, круглая, мощная, узел на затылке.

Плечи широкие, мужичьи. Рожа широкая, в грязи и саже, немытая тарелка. Грудь широкая, дышит тяжело. Молчала. Переваливалась грузно с боку на бок, как утка. Ей кричали в лицо, ее толкали в плечо –
молчала. Ефим подумал: немая? Сильные руки, сквозь мужскую рубаху просвечивали вздутые мужские мускулы. Ефим раздул ноздри: от бабы пахло нефтью и машинным маслом, горячим цехом. Молотобоец в юбке. Боец.

«Она боец, а я хлюпик. Ну и что, а мне не стыдно. Зато я теперь знаю себя».

Баба обнимала его и просовывала руку ему под мышку. Поддерживала. Он плохо передвигал ноги. Хотелось спать. От земли шел каменный холод, а от бабы – зверье тепло.

Еще от нее терпко и смутно пахло горелым: пожарищем, адом.

Он боялся глянуть ей в лицо. И увидеть там ухмылку. Командир обозвал его трусом. Она тоже как-нибудь обзовет, унизит. Время остановилось, потом пошло вспять, медленно и важно наматываясь на веретено его позвоночника. Ноги перестали идти. Баба покрыла его горячим звонким матом и взвалила себе на плечи. Носки его сапог прочерчивали по земле кривую кардиограмму. Под грудью он чувствовал ее спину, жаркую, ртутно-подвижную, мягкую. В ее спину можно было погрузить руки, как в разрытый чернозем, и, тихо смеясь, греть их.

Потом нахлынул бред, и он шептал: я вижу сон. Баба подволокла его к железному огурцу на железной подставке. Он впервые видел близко вертолет. Его втащили внутрь. Там были еще люди, люди. Ему стало больно и одиноко. Он захотел запеть. Шевелил губами. Баба наклонилась над ним, и он увидел ее рот и глаза.

Она сорвала с круглой бычьей башки платок, и стриженые потные волосы упали ей чуть ниже ушей. Потная челка прилипла к мощному выгибу лба. Ефим поднял руку и дотронулся до ее широкой щеки. Не отнимал холодную руку. Грел. Она поняла и крепко прижала к щеке рукой его руку. Вокруг загудело и задрожало. Они плыли и качались в полном смерти воздухе, а он держался рукой за теплую, потную, влажную землю и радовался: вот жизнь, это жизнь.

Он молчал о том, что хочет есть и пить. Земля сама все знала, за него. Земля поднесла к его губам реку и напоила его. Река втекала в его глотку из стальной, цвета болота, холодной фляги. Земля толкала ему в рот из теплой потной руки куски, и он глотал их, не различая, что это –
куски мяса или куски боли, куски теста, а может, куски плоти. Важно было кусать и глотать. И он кусал и глотал.

Земле не говорят «спасибо». Земля, она не стоит благодарности. Земля, она просто земля, и все тут. Нет имени у нее.

Гул нес их на крыльях, и пустота, в которой они болтались на нитке событий, оказалась ненадежным пристанищем. Все висели в воздухе
и молились о жизни, а с ним была земля. Он был счастливее всех. Никто не знал о том, как ему повезло.

Никто не обрывал вязкую, длинную нить бреда. Из вертолета других вынесли на носилках, а его земля вынесла его на руках. Он очнулся, глаза вращались на шарнирах ужаса: белые стены, на столе миска с гречневой кашей. Рядом банка варенья, открыта, и абрикосами пахнет. Речь невнятная, вдали, не слыхать, что говорят. Не понять, кто: женщины, мужчины.

«А может, куры квохчут. Или коровы мычат».

Он лежал в кровати, укрытый до подбородка колючим верблюжьим одеялом. Пальцы нащупали чистую простыню. Пальцы увидали: она белая.

Чужие женщины вошли, одна присела на край кровати, пружины скрипнули. Чужие руки пытались накормить его кашей из ложки. Сперва он отворачивал голову. Потом попросил глазами прощенья. Ел послушно.

Его вывели на крыльцо, и в лицо ему ударила синева. Небо плескалось внизу. Много неба. Ему сказали: это море. Это Крым, спросил он, уже зная ответ. Да, это Крым, сказали ему, а как ты догадался?

Он постоял немного, и сердце упало ему в живот, а на глаза легла черная овечья шерсть. Его поймали чужие руки, как больного птенца, и водворили в белое гнездо.

Он не спрашивал, где его земля, куда уплыла. Все видел перед собой стриженые волосы крутолобой бабы: они мотались чуть ниже крупных ушей, и от волос снова шло тепло. Разве по призракам тоскуют? Рот он раскрывал лишь для того, чтобы попросить: пить. Или отказаться: не надо. Спасибо, не надо, я сам.

Он многое уже умел делать сам. Выходил во двор сам, расстегивал штаны сам; умывался сам. Руки то повиновались ему, то нет. У него никто не спрашивал адрес и имя. Он повторял шепотом: Крым, Крым, –
и перевернутое небо било ему в ноги синими снарядами, солеными белыми пулями.

«Это море, море. Я его только на картинках видел. В детских книжках. Когда еще мать была жива».

Он стоял и глядел на море, а внутри него кто-то безжалостный и внимательный глядел на разрытую яму, на маленький деревянный гроб, на могильщиков и грязные полотенца и желтые ремни. «Мама, ты была такого маленького роста. Как девочка. Когда мне нужны были деньги на мороженое, пиво и сигареты, а ты мне их не давала, я бил тебя ногами. Ты плакала, и ножки твои, щиколотки, были все в синяках, потому что я пинал тебя. Прости».

Тут снега не было, хотя ветер хрустальным холодом обдавал виски и лоб. Земля моя, где ты? Далеко. Отсюда не видно.

Бешеное веселое море со звоном разбивало темно-синий, яркий хрусталь злых громадных волн о стальные утюги скал, перекатывало в соленом рту каменную икру гладкой цветной гальки. Бешенство мира било Ефиму в лицо, в ноздри, и он пьянел. Водки снова хотелось. И курева. Он потрясенно думал: я не курил уже много дней, я не пил спиртное! А разве это я?

Чужие женщины переговаривались около его койки, а он лежал тихо, вытянувшись, и даже не прислушивался: устал догадываться. Перестал понимать.

Он понимал только море, и море понимало его.

И еще небо.

«Если будут оставлять здесь – останусь? Да кто меня оставит? Я чужой лапоть. С ноги меня сбросить».

Наступала ночь, и море издавало странные, новые звуки. Оно свистело, свиристело птицей. Било кулаком в тощую, хилую, закрашенную известью стену. Гудело самолетом. Взрывалось миной. Потом подкатывалось к Ефиму ближе, очень близко, к кровати, к подбородку, к уху и бормотало: идем со мной, уплывем, ты мне чужой, а будешь родной.

«Я уже здоровый. Я скоро уеду. На что я отсюда уеду? Кто даст денег мне? А что, попрошу, и дадут. Ведь всегда же давали. Давали».

Женщины наклонились над ним, как над клещом в пробирке, и он, обводя их незрячими глазами, выдышал в них морским туманом: «Дайте мне водки».

Ему принесли полстакана водки.

Он выпил.

Ему поднесли ко рту поздний абрикос.

Он сжевал его.

Потом он жалобно, просяще поглядел на женщин, уже осмысленно, умильно, подобострастно, и язык сам вывязал за него узорчатую подхалимскую вязь: «А может, милые, сигаретку? Или даже две, чтобы потом не просить? Или даже три? Или четыре?»

Ему принесли пачку дешевых сигарет и положили на стол у изголовья.

\* \* \*

Надо вспомнить, как добирался домой. Да неохота.

Зачем вспоминать то, что не пригодится?

Надо помнить только то, что тебе приятно.

И то, что сгодится потом; что полезно и будет полезно тебе в жизни.

А в смерти? Что будет тебе полезно в смерти?

Ну вот, ты опять о чертовщине. Смерть, ты же понюхал ее!

Теперь ты можешь сказать себе: я воевал.

Себе или другим?

Ну, другим тоже можешь. При случае. Люди любят рассказы о войне. На войне всегда бывали герои. Значит, я теперь тоже герой. Вон она, рана на бедре.

Царапина, если точнее. Ты себе ее сам мог сделать. Перочинным ножом. И потом хвастаться мужикам в бане. И новым своим девушкам. А потом жене.

Жене? Жену надо кормить. И поить. И одевать. И детей тоже.

И это все тоже, черт, война. Такая мирная война. Каждый день – бой.

Вот в чем штука, да. А ты думал, ты в мир вернулся?

А на ком бы ты женился?

Да ни на ком, черт. Ни на ком. Хочу, понимаю, без бабы нельзя. Но не буду.

Денег нет, ага?!

Жизни нет. Нет у меня жизни, черт. И смерти, главное, смерти тоже нет.

А на земле?

Что – на земле?

На земле бы ты женился?

А на той бабе, крутолобой. Плечи как у сталевара. На той, чужой. Да. На ней – да. Она родная. Да привиделась мне она. Нет ее на самом-то деле. Нет и не было. Я был, а земли не было.

Да ты же в нее ляжешь, дурень. В нее.

Заткнись. Лучше кури. И пей. Налей. Кончается? Звони отцу, иди к нему. Он тебе денег даст. Не откажет. Он тебя жалеет. И, может, любит. Любит и убивает. Это его личная война.

Он из тебя тряпку сделал. Он уже убил тебя.

Он круче снаряда. Круче пули, твой отец. Он тебя давно расстрелял.

Тысяча, две, три. Хватит?

Налег на кнопку звонка всем телом. Трезвонил. Ждал.

Открыла дверь мачеха.

Круглый мяч живота, бутылки-ноги. Смоляным взглядом зачеркнула его, ошибку, описку.

– И что?

– Это вместо «здрасте»?

– На ногах уже не стоишь. Проходи!

Посторонилась. Ефим ввалился в прихожую. Мазнул локтем по груди мачехи, из-под цветастого халата сытно торчащей.

– Мне отца.

– От тебя за версту воняет. Пьяница несчастный. Гена! Подойди! Пришел твой попрошайка!

Тяжелые шаги отца звучали запинаясь, неровно: так бьется больное сердце.

Шаги приблизились. Он отца не видел.

Мачеха злобно, могуче заслоняла его, закрывала дверь толстой спиной.

– Эй! Батя!

Донесся вздох.

«Море. Это дышит море. Это Крым».

– Эй, батя! Слышишь! Дай денег.

«Море бьет и бьется. Море рядом».

Толстая цветастая грудь надвинулась грозно.

– Бать! Ну не жмись. Мне это! Помянуть надо! Тех, кто там...

«Море. Крым. Это Крым. Земля. Теплая земля. Абрикосы. Белые простыни».

– Пошел ты знаешь куда!

– Бать, ты ж понимаешь...

«Это моя земля».

– Проваливай! Отец тебе не дойная корова!

– А вы! Кто вы такая?! Я вас не знаю. Вы! Отняли у меня!

«Моя земля. Моя любимая земля. А я слабый щенок. Я зароюсь в нее носом, в ее сухую траву, в ее солому, в ее чернозем вперемешку с камнями, в ее теплое дерьмо, в ее кости, в ее гниль, в ее козьи катышки, в ее навоз, в ее мощи, в ее ветошь, в ее соки, в ее клубни, в ее корни, в ее червей и ее личинок. И она пригреет меня. Она опьянит меня. Я же воевал. Я же... сражался...»

– Гена! Что ты делаешь! Не смей!

– Фима, на, возьми...

– Гена! Ты его губишь!

– Уйди прочь. Фима!

– На! Подавись! Ступай! Налей глаза бесстыжие!

«Земля. Крым, Рым и Нарым. Я все прошел. Я все видел. Врешь! Ничего ты не видел! Ты видел только землю. Широкую, теплую, лобастую. Лишь ее одну».

– Спасибо.

– Пошел вон!

– Галя, зачем ты так...

– Да женился бы хоть! Соки все высосет! Заел нашу жизнь!

«Земля. Жить – значит убить. Убить и воскреснуть. Смерть – это тоже жизнь. Какой я злой. Я не боюсь смерти. Я сейчас ничего не боюсь».

– Фима! Ты что! Фима!

«Земля. В землю ее. В землю меня. Всех – в землю. И прорастем».

– Фимка! Черт! Помогите!

«Моя земля. Моя. Только моя».

– Помоги...

«Я там не мог. Я здесь смогу».

Круглая, мощная голова возникла, горячее, широким пирогом, лицо вспыхнуло, качнулось, засветилось. Скулы торчали, губы вздрагивали. Земля подняла темную грубую руку и развязала на затылке узел платка. Волосы кустов и водорослей хлынули, скалы, реки и озера приблизились, море рванулось вперед. Мачеха оседала на пол, а прибой поднимался. И земля наклонялась, вздымаясь; она росла и ширилась, и взбухала, и изнутри земли росли и разворачивались веера черного ветра, и синего хрусталя, и морозного железа. Отец верещал щенком. Ефим тоже стал щенком и сел на пол, на все четыре лапы, и прижался к ногам отца, а отец тоже падал, и не за что было ухватиться.

«Жизнь за царя, опера такая есть. Мать меня в школе в оперный водила. Или смерть за царя? А какая, черт, разница?»

Земля придвинула к нему лицо свое страшно, плотно. Губы ее раскрылись. Ефим искал щенячьими губами ее гиблый рот, ее пахучий пот, но губы ловили ветер и пустоту. Море плеснуло в него дикой тяжелой темной водкой, Крым восстал до небес, он задохнулся и поплыл, высоко, нелепо взмахивая руками под чей-то тяжкий долгий крик, под тонкий плач.